

Д 3-1
Пос 2-982

Ив. БУНИН

45

Хорошая жизнь

РАССКАЗЫ

1948

Рос $\frac{3-1}{2-982}$

Ив. БУНИН

Хорошая жизнь

РАССКАЗЫ

Отдел литературы
русского зарубежья

1948

Российская
Государственная
библиотека

и 11634-6-00

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владаю, — старичек-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а, как говорится, просто лавка, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и безсердечный. Как вышла, значит воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за от-

личного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не слоют они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать побирушки. Мы и переехали в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокое. . . Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развяске близилось, вдруг скандал ужасный. Напились мы чаю утром, — праздник был, — я и стою так то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе с палкой, лицо все темное землистое, грива как у лошади хорошей, так по ветру и раздывается, а другой — простой мужик, его работник. Подходят к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали. А он, вижу злой, пасмурный, на меня и не смóтрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где, говорит, твой отец?

— Они, говорю, по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюде придет.

— Как, говорю, караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продумная на это дело была). Ай вы, говорю, смеетесь? Вы, говорю, бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать, — кричит. Барыня в город переезжает, а я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, — того гляди, в морду заедет. Увидал эту историю батенька, бежит к нам, — он у нас ужасный горячий был, — подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровен-

но объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, говорит, духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерского ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове его огреть. А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за-ради Бога, ваше священство! Вы, кричит, черный, жуковатый, а я еще пожукватее вас.

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали за это за самое батеньку на поселение. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что же мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь. надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу — деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель

хороший в городе, шорник, — он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный. не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам хозяин. Приданного за мной копейки не было, а тут вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам в пору! Опять же дразги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня Господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, — все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить, —сам стал чай пить, уцепился, бывало, за блюдце, не выдерешь никак. Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я

раз с речки домой, а мужнина сестра, — мы с ней квартиру-то снимали, — и говорит:

— Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положек, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, — чем вы, говорит его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл, — говорит сестра. — Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну, говорит, фельшер, — обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, говорит, отсохли. Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, видно, против Бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один-господин. Невелик человек, а

все не меньше взрослого съест сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей ежемесячно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем маленькая старушонка, безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаясь нельзя, чугуна из печки не вытащит. . . Ушла она рожать, а я захватила ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с», да, «так точно», да «истинная ваша правда». . . Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание по черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая,

больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит деньщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижу — мотаю. — всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Входит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылится весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чустую тунбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдаёт, так кровью и наливается, старается, значит, одо-

леть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, говорю, делаете! Барыня идёт, уйдите за-ради Христа!

— Если, говорит, полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава Богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как то не во-время, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стоит, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее, да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, поддержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке карзиночкой, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре. (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадет задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня Бог! Запрягусь, думаю, сызнова, обмогнусь какнибудь — и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничная, к купцу Самохвалову определилась да отдежурила целных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иванович, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, — выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить

маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами, — глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы страсть чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все чтой-то строила, барышню какую-то — ходит мелкими шажками, нежна и обдчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого и не видывала! Ну, а я поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий с косяком, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в карсет затягивалась, — затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшему-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшему четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал,

я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то, в роде как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, — рука-то, глядь и срослась. Ходить он сам не мог, полозил на заде. Бывало, и по диванам, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, нескладная, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные, разных цветов, когда синие, когда розовые. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная была голова! А уж как на гармонье играл — где тебе так и хорошему сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою». . . Это песню часто певал.

Старший сын был здоровый, а тоже вроде

дурачка, ни к каким делам на способен. Отдавалиа его в учение во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залиться куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, — как хозяева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку ни хрупы. На другой день встал, — как нигде не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне что-ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело. . . А тут и от меньшего, от Никанор Матвеича, пошел доход,

Добивалась я тогда своего прямо и день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы безпрерывно, обеспечить себя да за хорошего человека выйти, так и укрепились в этой жизни. Каждую копеечку, бывало, берегу: деньги-то, они с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по-совести сказать, и без надобности была, я так и хозяевам сказала: я, мол, одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую ни на есть безделицу — осталась одна и ворочаю. Жалованье на стала на руки

братъ: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда же мне тратить? Только и сделала расходу, что на памятник, мужу на могилку, два семь гривен заплатила, чтоб люди не осуждали. А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости Господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня Господь сынком. Иной раз из головы не идет — я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, — да и то принять в расчет, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя. «Стала я замечать — похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — избавь Бог. Лицо широкое, а худощавый, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, — зачал при-

франчиваться, подсолнухи покупать и так лихо, бывало, на гармонье заливался, — заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, — притих, задумчивый стал. Раз стою на галлерее, вижу, — ползет с новой немецкой гармоньей по двору, — опять подбрился, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, — голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза темные, мутные сделал-и-и залился под польку:

Пойдем, пойдем поскорее,
С тобой польку танцевать,
В танцах я могу смелее
Про любовь свою сказать...

А я, будто, и не заметила, — как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя!

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он в это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец

он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые).

— Ты, говорит, посиди со мной, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму деньги и посижу. . . И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня дежало с процентами сотни четыре, Значит, думаю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А, по совести сказать, жалко было — хотелось еще годок — другой пережить, еще покопить маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости Господи, мое согрешение, лучше бы

он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело сделать. Стала, понятно поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шопотком:

— Ну, вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, в роде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так мол, — мало ли у меня горя?

Да еще вздохну, примоткну и на-руку щекой обопрусь.

— Да, в чем же, говорит, дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, — дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят по-

сле обеда, — я вошла к нему с работой в руках, — шила себе что-й-то, села возле постели и только это хотела-было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, — он и заговори сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искоса. Рукова широкие, шерошавые того шире, а ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький, — даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть моложавое будто — от бритья-то, — и усы густые. (Он почесть каждый Божий день брился, так, бывало, и пробивает борода все руки конопатые и то все в волосах рыжих). Лежит, говорю, причелался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Наст! Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеевич?

А у самой сердце так и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет, говорю, я этого, Никанор Матвеевич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гар-

деропе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так хочу деньги посчитать.

Я слезила в ящик, крышку на гармонию открыла, а там в мехах слон жестянной забит, порядочной тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погремел, положил подле, — чистый, ей-Богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, ныне сон один счастливый видел, даже по-свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянька, я даже выбрился и прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеевич, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну, говорит, ходить-то мне, видно, на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду ты себе представить не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим, говорю, грех смеяться, Никанор Матвеевич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, говорю, Господь даст,

поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон вы видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, — какой я, мол, житель! стал ни к селу ни городу про нашу корову толковать, — скажи ты, говорит, заради Бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно, — а сам все деньгами погромыхивает и в глаза смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, — чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря, — наконец того не вытерпела, — ведь вот-вот думаю проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет, говорю, вы лучше скажите, какой сон вы видели? Про нас что-нибудь?

Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала, — он даже пополовел весь и глаза опустил. Взял вдруг копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадает, до того руки трясутся, — наконец того отпирает, высыпает себе ее на живот, — как сейчас помню, две серии и восемь золотых,

— сгреб их в руку и вдруг говорит шопотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

Так у меня руки, ноги и отнялись от страха. А от-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель, никогда больше слова не скажу, не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и! поцеловала его. Так он даже задохнулся весь, — ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту, небось, не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди, говорит.

Я вскочила и прямо же в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка.

Ну, хорошо, — это дело значит, вышло, слава Богу, начинаю другое обдeldывать, поглавное, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будет меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится попрежнему, аккуратно, будто ничто и не было промеж нас, даже, думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит слово. Подвожу тогда хозяевам разго-

вор, мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, ослобониться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешкой:

Ты, говорит, не имеешь право этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бассовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут к кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, — полштоф под кроватью так и дежурил, — и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки налажу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка, прослышавши это, и не стала меня больше неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть, как опять звала к себе жить, или хоть приходить иногда к празднику, к именинам:

— Обязательно, говорит, чтоб ты приходи-ла всегда все прибрать, приготовить. Я, говорит, только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Провожают с хлебом-солью, — сошло, значит, сердце, — большую булку белую спекла, цельную салонку сахару наклала. Я благодарю всячески, а, понятно, не детей мне с ней крестить: думаю одно, говорю другое. Наобещале всего с три суммы, накланялась в пояс — сошла. И сейчас же, Господи благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая, — стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, — я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, — я

к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведение, на права — и заторговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

— Да куда, говорят, его устраивать, у тебя и дома работы девать некуда.

И то правда. Сажая Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла Жожка в ход! И мыслить забыла о всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь. — Полканиха на двор, мамка эта самая (ее мальчишки Полканихой прозвали). Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, непременно велел провести его.

Так меня в жар и бросило со зла и стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову себе забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому чорту, не стыдно в сводни лезть. Слышала, ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья, пухлыми глазами, да

только качаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты, говорит, безчувственная! Он, говорит, даже плакал навзрыд.

— Что-ж, говорю, и мне что ль залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на-людях? Ишь ребеночек какой! Ай от соски отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми и взаправду удавился. Тут-то я очень, понятно, жалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал по скандалу пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, а в другую барышня проститутка переехала. Светлорусая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая. Звали Феней. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержании была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восем рублей задолжала.

— Надо, говорю, барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я, говорит, постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах, говорю, скажите пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь, — постараюсь, а стараюсь, правда никакого. Стала — было округ Чайкина уваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет, говорю, перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я, говорит, хорош собою.

— Да шальной, — что ж мне на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сажу в кабаке, а сама все слушаю, — прислонюсь к стенке, за-

таюсь и слушаю. Нынче, послушу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то, говорит, что за дело? Может, я не ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, говорю, давно вижу, только не бывает тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная застенчивая.

— Любовь хорошая, говорю, от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, говорю, дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, Господи, попала по нужному месту. А все-таки до-смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да чтож, говорят, понятно, прихватить надо и выпшвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, похोдила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в

другой, третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окно колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, слабое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, — все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь). А я говорю этак просто, а сама и продохнуть не могу, — то откину шаль, то опять запахнусь:

Что-й-то у вас, говорю, — ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?

Молчат.

Что-ж, говорю, молчите? Что-ж молчишь, сынок? Такой-то хозяин-то голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было и шерсть взбудоражил:

Та-ак, говорю, а мне-то как же? Из сво-

— Та-ак, говорю, амне-то как же? Из своего собственного дома выходить. Так что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами мо-

лоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб, Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук). Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит).

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она в слезы. А я еще поддала:

— Пусть, говорю, денежки мне прежде приготовить! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как стогняла-то я ее, страсть, как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Все состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих-было на время. Вышел на утро из-под замка — и ни гу-гу: боится очень и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да не надолго. Стало опять из

кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вавеным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло, — что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И вино стало потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку — и марш, а она, водка-то, уж дорогая стала. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, весь в меня, лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы кашматые, вьющиеся... А тут рокий, волосы каштановые, вьющие... А тут ку лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, говорит, я могу каторжных дел натворить.

А захмеляет, расслабляется, смеется ничему, задумывается, на гармонии. «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей

замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей все до шпенту об его жизни, беды, вижу, никакой; надо решаться, надо поскорее знакомство завести, — нас друг друга только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побывать друг у друга, в роде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Легутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорит, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом я к нему со свахой будто по делу затеялась. Пришли. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь, — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит впереди нас,

пальцами похрустывает и все рассказывает, как прескурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает! Ног под собой от радости не чувю, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот ни кошка, думалось, не узнают. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось, сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, — грозит, не верила, так вот же я на зло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что — вдруг кой-й-то грох, грох в

ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха.

— Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить! Брякнула, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, подол подхватила наперед, спотыкается, гнется — и я бегу... Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем Бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу как на пожаре. Парадный — настезь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я была сдурю-то себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижка паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай!

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног

сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, — жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, — вдруг еще новость: Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, — люта псовка была, небось, сама же, востроглазая, и настрочила его, Николая-то Иваныча, — передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладывает, — дела будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, — потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие блага не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас в чистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение! Как он никогда никакого шума не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать). Пускай говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определить, куда сбывать? Мальчик совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать — не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился

он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, — ночь за день сходит. . . Что я горя вытерпела с ним за это лето — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемнеет, сяду на скамейку перед домом, и жду, пока с улицы вернется, боюсь, берята слободские умолотят.

Ну, получивши такое решение от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, — терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ослабил. Привык ты нежиться и блаженствовать, — наконец, того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажать себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был моталь, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть! . . — Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет. Только и вызвала, что пообедать, а то все спал, морда вся затекла.

— Что ж ты, спрашиваю, молчишь? Ты

клеенку-то не дери, — наживи прежде свою, — ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы- говорит, замуж выходите?

— Это, мол, мое дело, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь.

— Да вы, говорит, ногтя ее не стойте!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, — как подумаю, какие слова он мне мог сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу — до веку не прощу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нету. Слышу-у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, — на смех мне, понятно, — в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам всходит. Пьян —

лица нету. Вносит селедки, — утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги четыре штуки, — и как шваркнет их на прилавок!

— Можете вы, кричит, присылать такую скверность покупателям? Оне вонючие, их собакам только есть!

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, говорю, тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а боченками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, говорю, ты, свинья, не можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он вдруг схватил безмен с ларя и этак шипом.

— Как жмакну тебя, говорит, сейчас по голове, так ты и потянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали его, наказал Господь за мать! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью

перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках—хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогону его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, — прямо редкость по нынешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась, — сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, Господь, — вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заносет сердце. Особливо Великим постом отчего-й-то. Умерла-бы теперь, думается, — хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают...

Правда, наморилась я на своем веку — ух,

и настойчива была Настасья Семеновна! Мне бы, по моему, разве в слободе сидеть? Меня муж и то Скобелевым зовет... Опять же иной раз об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привели-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать — цельный день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, — жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается... Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила. Не спится, да и только, — вся дрожу—лежу... А ночь видная, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты, спрашиваю, ходишь?

— Живот, говорит, болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты, говорю, выпей чернобыльнику с водкой, вон там, в образничке, бутылка стоит.

Полежала еще, — может, и задремала немного, чувствую сквозь сон, прокрадается кто-

й-то по половичку. Вскочила — он.

— Мамаша, говорит, не пугайтесь меня заради Христа...

И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, — так плачет — рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя, говорю, могу, а поделиться, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша, говорит, за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А на утро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царьцин подался, а там, небось, и голову сломил... Да что об том толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так

я уже глупо это считаю. Авось ни великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калекой меня, Настя, судьба моя сделал, и характер у меня сумасшедший: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особенно летом, в жару, в пыль эту, — просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище — целый век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвеич, об этом убиваться? Мы этого чують не будем.

— Да это, говорит, что ж что чують не будем, — беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а вечер несет эту пыль! И руки-то он наложил на себя в страшную жару, в самое глупое время... Город у нас, правда, скучный. Я вон была недавно в Турле: какое же сравнение!

ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев, по прозвищу Малолетка, из Осиновых дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится однако на равной ноге. Всю жизнь — ему было сорок лет не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, рассказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один в роде меня, говорил он порою, — да тот далеко, под Задонским»...

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не кроваво-вывороченные ниж-

ние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка открывая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленного полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подростли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зимой и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый. Рукав его еще спадал с руки чуть не на пол-аршина. Зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик, — опушка борта и воротника, — был еще остист и жесток. Любил Захар чистоту и поря-

док, любил все новое, прочное.

Умер он совершенно неожиданно для всех.

Это случилось в начале августа. Он только-что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипово и пошел в Осиновые Дворы через Жилые: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом. — Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исде-
лать.

Был первый Спас. «Хорошо бы теперь для праздничка выпить маленько» — шутя сказал он в Шипове знакомому, петрицевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. — «Что ж не пьешь? А кстати бы и мне поднес», — ответил кучер. «Не на что, потра-
тился, и так в грузовом вагоне ехал», — сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алеш-

ка. И все трое, вполголоса переговариваясь, вышли следом за Захаром на вокзал. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой, — он выезжал за Петрицевым, да тот не приехал, — урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас же затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы урядника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник, — сказал кучер, человек недалекий и низкий по натуре, сумрачный, с свинцсыми глазками.

— А проспоришь, — прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом, промышлявший сводничеством: — а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по вашему, — снисходительно отозвался Захар, думая о том, что спросить на закуску.

Ему было скучновато с этими людьми. Он мелкий народишко! Но на душе у него было хорошо эти дни, — как всегда, в сухую погоду, в конце лета, да еще и лета-то урожай-

ного. Он не только не устал от путешествия в Пальну, — где дело кончилось превосходно, миром, — не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив сил. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не Бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — не велик интерес... Но все-таки на спор пошел Захар охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой, — есть очень хотелось, каждый кусок был сладок, — потом своим рассказом о суде.

Был четвертый час жаркого дня; но на сотни верст вокруг села, в просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль, серела и лоснилась на шиповской площади, на припеке. Площадь отделяют от села деревянные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален палевый сосновый тес. Пахнет тут смолой, светлые, клейкие капли которой проступают на тесе, пылью, калачами и тем непередаваемым, сложным, что присуще сель

ским лавкам, Сидя на нижней ступени теса, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь на блестящие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами — урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади двемали, терпели ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал:

— Чем дело-то кончилось? — говорил он. — Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свары-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы с дуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не замечал того, что делал. Кучер, урядник и Алешка были выжидательно возбуждены и изо всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила Бога, чтобы Захар упал замертво. А он только рас-

стегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и шесть французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились, ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно, пропади они пропадом! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошение. Ну, подал, и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крикал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с нея своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутыль,

брал две-три длинных зеленых стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль, и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью, и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно-насмешлив.

— Ну, являюсь, — говорил он, прожевывая и раздувая ноздри. — Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бордочкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом, — Захар повел рукой налево, — урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина

Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поиди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу»! Он не слушает, доедает...

— По морде бы его этой грушей, — сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку. — Стоит и лопают! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый

раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лешишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими друзьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избы и не позволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он как бы невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, что было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте спросить его жану, Катерину и мать Феклу и показания от ней занести в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Леонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в этот день пропал без-вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да слава Богу, что так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо

на грудь, сигал как бешенный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом, и тем меня оградил...

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел-было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь ка на часы-то.

— Успеется, успеется, — ответил урядник и подмигнул Алешке. Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, чорт курносый! — гаркнул он добродушно. — Дай доказать-то! Я свое время знаю, — выпью, не бойся

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблуков, — он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища, — лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно-низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри вздохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина!» — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах. — «К допросу. Подойди поближе!» Подходит. — «Слышала, что господин заседатель сказал?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. — «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж осты вешать» — «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите, — и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. Имущество, говорит, моя, за сына я не плательщица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки». — «А сын-то чей же?» — «Мой.» — «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имущество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на-хлеб, на-воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивается, иде церковный титор Федот Леонов? Подходит дочь его Винадорка. «Иде отец?» — В клетки, после обедни отдыхает». — Беги, зови его су-

да. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером. — Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил, что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара, — он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и еще выразительнее:

— Верно! Слухай, же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубаше распояской, и ворот от жары растянул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы густые, седые, разложены в роде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик). Пошущукались что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными

култышками... Потом Винадорку кличет. При урядника, и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла, — вся писаная, в яблоках!» — Смеется, морщится, гнилые корешки в красном рте показывает... »Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то»... И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит, вдруг опять перебил урядник, вынимая часы, — а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он. — Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прощел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка. — Допивай, допивай!

Захардохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он. — Это не ладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август! Чорт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну,

хоть досказать только дайте про этот самый суд! — сумрачно попросил он.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо. Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутылку за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, сгелка задохнувшись, грубо сказал:

Ну? Сыт ты, ай нет?.. А теперь — будо доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он. — Вот ты и глянешь, напоил ты мене, али у тебя и потроху не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Теперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля старика этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, виски в роде пеньки и борода клинушком. И еще пуще старика морщися, — не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то, — бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возмись глушить его большими стаканами... Вы-

зывают его. »Как тебя зовут?« — «Был Василий.» — «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?...» «А у них уж раньше, конечно, был говор: Васька, небось, уж сунул сотельную им Ну, а при народе, известно, надо же для близиру пообратить. Вспрашивал, спрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся с глаз моих в осинник!» Тот будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальце, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул.» «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого, говорит, — время петербургская». — «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится»... Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вороны, на срубленных деревьях возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам и то лучше, киргизу и то способней, — у того, по крайности, степя агра-

матные... А старик кричит, лапит, что у нас лучше. А мужик опять же не подается: «у нас, говорит, дуб дюже велик вырос, да дупло добре широка и ниток много распустил».. Чуете, к чему гнет-то? — подмигнул Захар.

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот пулушубка, и чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села.

— У нас дуб велик вырос, — насмешливо и с удовольствием повторял он мысленно, чуя в этих словах какой-то чудесный намек на что-то. — Дуб вырос, дюже велик...

Он шел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и жел-

тых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушурок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчанной пустыни, на раскинутые по нем несметные копыны, похожие вдали на гусениц. — и по горизонтam, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, как хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирали горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Ста-

руху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно!

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя, — дойти до Жилых раньше, чем оно сядет, — и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копыны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из ри-

ги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвигнув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полущубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел-было запустить ее выше самого высокого самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: — и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

— Ах, расчудесная была старуха! — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы Жилых. — Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорее доброго, чем злого. »Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе. — Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха, — она была вся в

лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты, — зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно. — Раз тебе спрашивают, можешь ты мне не отвечать? Значит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят, — баран завалает, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе. — Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчался к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхалась от запаха водки, исходявшего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи, — говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха. — Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков ни наедков сладких отроду не видала...» — «А

я тебе говорю, не голоси! — говорил Захар. — Всякий свою стезжку топча! У всякого своя печаль! Копти!! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости. — Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватуру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой, — застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы. — Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотками било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилые, — две степные деревни, отделенные друг от друга лощиной с тремя прудами. В деревнях было мертвенно-тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние

месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркала, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

—Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь, — Как подошли все!

Ему захотелось рывкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет, — подумал он, мотая головой: — ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно.... Домой надо поскорей... Домой...»

И друг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых

и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осино-вые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, по задворкам второй деревни и вышел на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего со стоячими белыми глазами мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки, или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светонеснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубашке и обтертых до-красна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой, — безобразный, с высоким подъемом, с большим каблуком, — выставив кострец, и, как обезьяна, с необык-

новенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская белым с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнувшие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай, ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянул на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка

для Жилых. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачайшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Содержание

Хорошая жизнь	3
Захар Воробьев	44



2002234666